

Глава XIX. МОИ ВСТРЕЧИ С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ И НОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. МОИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОТЪЕЗДУ НА УКРАИНУ

Как я уже отмечал выше, товарищ Бурцев тяготился тем, что мы зажились в заведуемых им номерах. Тяготился он нами, быть может, потому, что свихнулся в сторону левой эсеровщины, в гущу которой он попал по приезду на IV Всероссийский съезд Советов в качестве делегата от одного из крестьянских районов Смоленской губернии. В крестьянской секции ВЦИКа Советов он и был избран заведовать ее номерами, в которых жили как постоянные, так и приезжающие и отъезжающие члены этой секции. А может быть, и что-либо другое побуждало его тяготиться тем, что несколько товарищей (и не все постоянно) у него жили... Трудно было выяснить это, а он сам ничего не говорил. Поэтому идти к нему мне было тяжело. Однако и не пойти нельзя было, так как мне нужен был Аршинов, которого можно было найти только у Бурцева... Я пошел. И к радости моей застал Бурцева в хорошем расположении духа. Он меня встретил с распростертыми объятиями. Рассказал мне, что много крестьян приехало из провинции, привезли ему хлеба (которого в то время в Москве трудно было достать: его не хватало; поэтому только чиновники правительственных учреждений получали его; рабочие же и тем более обыватели получали по карточкам вместо хлеба селедку или крупу). Дружески справился он о том, голоден ли я, и накормил меня.

На вопрос мой, здесь ли ночевал товарищ Аршинов и скоро ли он будет тут, Бурцев ответил, что трудно сказать, когда придет, не раньше ночи во всяком случае. И с особым недовольством начал рассказывать мне, что все наши товарищи ни черта не делают. Все поделались лентяями: проводят время от 12 -2 часов дня после обеда до 12 -2 часов ночи где-либо по паркам, а остальное время за сном.

- Конечно, ты и Аршинова к этим лентяям причисляешь? — спросил я Бурцева. Ответ последовал:
- Да.
- Но ведь он же занимается изданием книжек Кропоткина, — возразил я Бурцеву.
- Разве это работа?.. Книжечки по месяцу, по два лежат в типографии, — ответил Бурцев.

Этому неожиданному для меня мнению Бурцева о том, перед кем он прежде преклонялся, я не придавал значения, ибо я видел Аршинова за работой в качестве секретаря Союза идейной пропаганды анархизма. Хотя эта работа мне лично (да и вообще для того момента революции) казалась праздной, но Аршинова и его сотоварищей — Рощина, Борового, Сандомирского и других — она, очевидно, удовлетворяла.

Однако, как бы легко я ни отнесся к словам Бурцева, дышавшим гневом, рассуждения его подчеркнули мне мои собственные выводы после наблюдений, во многих городах, в том числе и в Москве, за положением и развитием нашего анархического движения в то время. Я сравнивал то и другое с тем влиянием анархизма, которое мне хотелось бы видеть если не на самый ход событий, то хотя бы на руководителей этими событиями... Рассказ Бурцева глубоко запечатлелся в моей душе, что я заметил, как только ушел от него на ночлег к товарищу Маслову, где мог вспомнить его и продумать...

На другой день я опять зашел к Бурцеву, где и встретил Аршинова. Оба они, и Бурцев, и Аршинов, выразили мне свое удивление, почему я не прихожу к ним ночевать. Ответив на их вопрос, я сказал Аршинову, что был у «богов», в Кремле. Но он особенного значения этому не придавал, и я прекратил разговор, заявив, что в ближайшие дни выезжаю на Украину.

Этим последним вопросом товарищ Аршинов интересовался. Мы обсуждали его, начиная с первой же встречи нашей по приезду моем в Москву, и теперь еще живей принялись за него. Аршинов заручился от меня согласием на то, что я, зная, в каком положении находится наше движение в Москве вообще и в Союзе идейной пропаганды анархизма в частности, не буду забывать поддерживать его движение в финансовом отношении. И я ушел в город искать адреса тех, у кого можно было получить паспорт из Украины, способствующий совершенно свободно перейти русско-украинскую — гетманско-немецкую — границу.

Ленин направил меня за содействием по адресу какого-то Карпенко. Встреча же моя с товарищем Михайлеви́чем, председателем Александровского уездного революционного комитета, и беседа с ним о возвращении моем на Украину помогли мне уяснить конспиративный характер выдачи паспортов из местностей, занятых теперь немцами и гетманщиной. Дело это сосредоточивалось в руках товарища Затонского. Поэтому я с Михайлеви́чем и направился к Затонскому.

Михайлеви́ч имел к нему какое-то еще свое дело и пошел вперед, а через несколько минут позвал и меня. Он отрекомендовал меня Затонскому как своего хорошего знакомого и человека, известного на революционном поприще в деревне, на Украине.

Затонский стоя выслушал меня о том, чего я от него хочу. Я объяснил ему, что он, как член украинского Советского правительства, может и должен дать мне надлежащий паспорт из местности, оккупированной немецко-австрийскими армиями, чтобы я мог свободно перебраться в харьковском направлении через границу на Украину.

Он долго, с особым интересом расспрашивал меня: в какой район я думаю пробираться; знаю ли, что путь мой связан с большим риском, и главным образом не в пограничной полосе и не на самой границе, а внутри Украины, и т. д.

На все это я ему ответил, что все это мною продумано.

Затем, перебросившись несколькими фразами чисто отвлеченного характера со мною и с Михайловичем, он попросил меня зайти к нему на другой день...

В ожидании завтрашнего дня я использовал время и разыскал польского социалиста — друга своего по каторге Петра Ягодзинского, где встретился с Махайским (основоположником особого рода теории и формы классовой борьбы трудящихся с капиталом). У Ягодзинского я и провел время за взаимным рассказом о том, кто из нас и наших друзей по каторге за что взялся по возвращении в свои местности.

Здесь же я узнал, что следственная комиссия из бывших политических московской каторги при чека обратилась ко всем узникам этой каторги с предложением сообщить ей данные, какие у кого имеются, о деспотах-надзирателях каторги. Последние были по распоряжению чека переарестованы и теперь находились под следствием.

Помню, во мне закипело чувство гнева по отношению к этим деспотам-надзирателям и зародилось желание помешать им. Я думал пойти в эту следственную комиссию и дать о многих из них свои показания. Но мысли эти разлетались в клочья, когда я сосредоточивался на вопросе: допустимо ли революционеру-анархисту питать в себе такие чувства к тем, которые побеждены революцией? Я ответил себе: нет. Я допускаю месть, и жестокую месть только по отношению к тем, кто является виновниками строя, не могущего обойтись без тюрем. Этот вывод заставил меня воздержаться от участия с другими политическими каторжанами в обвинении даже тех деспотов, тюремных палачей, которые, по-моему, должны быть убиты в первый же день нашего освобождения. Такое убийство не вызвало бы ни у кого из нас — тех политических каторжан, которые не имели ни денег, ни склонности подкупать этих палачей (как это делала вся почти и всех политических группировок официальная интеллигенция), — ни боли, ни печали. Все были бы довольны тем, что революция не прощает никому злодейских преступлений по отношению к ее сынам. Сейчас же, когда время прошло, революция торжествует, сейчас смерть, как и жизнь, этих негодяев казалась мне безразличной... С таким решением я вышел от Ягодзинского и поспешил отправиться на митинг Л. Троцкого, которым как оратором увлекался не только я за время своего пребывания в Москве, но и многие друзья и противники его. И нужно сказать правду, он этого заслуживал. Его речей нельзя было равнять ни с речами шелкопера Зиновьева, ни с речами Бухарина. Он умел говорить; и им можно было увлекаться. Правда, этому много помогало особо острое в смысле боевизма партии большевиков время.

В этот же день я встретился с Ривой, которая, мне казалось, была ответственным членом Мариупольской группы анархистов-коммунистов; таковой ее считали и другие члены этой группы, которые вместе с нею и со мною от самого Ростова ехали в глубь России. Лишь в Астрахани мы разъехались. Она держалась своих друзей и с ними застряла в Астрахани.

Теперь она перебралась в Москву. Хороший была товарищ, но как-то быстро покатила по наклонной плоскости от анархизма к большевизму, нашла себе друга большевика и затерялась в рядах большевиков до полного революционно-политического обезличения...

Поздним вечером возвратился я на ночлег к Бурцеву, который сверх ожидания встретил меня дружески. Аршинова еще не было. Я улегся спать.

Наутро я опять пошел к Затонскому. Теперь он был более определенен. Расспросил меня более основательно о том, почему я стремлюсь в село, а не в город. Сообщил мне, что Михайлевич отрекомендовал ему меня с очень хорошей стороны. На этом основании он, дескать, говорит со мною совершенно откровенно. Предлагал связи в Харькове:

- Ведь если вы поедете на Украину с целью организации боевых повстанческих групп против немецких войск и гетмана, то Харьковский район самый подходящий для этого. И сейчас все анархисты и большевики обращают внимание на этот район...

На откровенность Затонского я ответил ему, что никакими посторонними обязанностями я свой путь на Украину не могу загромождать. Ни в одном городе задерживаться не могу и не хочу. Направляюсь на Запорожье в села, где я со своими товарищами слишком много поработал, и могу глубоко верить и питать надежды, что мое присутствие и готовность ко всяким жертвам там в настоящее время принесут пользу для украинской революции.

- Гм... гм... Ну тогда скажите: на какое имя и фамилию вы хотите сделать себе паспорт? — спросил меня Затонский.

Я ему написал: Иван Яковлевич Шепель, Матвеево-Курганской волости, Таганрогского округа, Екатеринославской губернии. Учитель. Офицер.

- Почему же вы избрали такую отдаленную от Запорожья местность?

Я ответил:

- Чтобы отвести всякое желание у пограничных властей подозревать меня, что я из тех районов, где революция имела наиболее яркое свое практическое выражение, и чтобы не погибнуть прежде достигнутой цели.

Затонский засмеялся и сказал: «Верно». И тут же попросил меня зайти к нему за паспортом через два дня.

Это меня несколько смутило, но делать было нечего. Я попрощался с ним и ушел.

Казалось, что я не получу этого паспорта и застряну если не в самой Москве, то в каком-либо другом городе на продолжительное время. А июль надвигался быстро, и не быть в первых его числах в Гуляйполе или где-либо поблизости от него — это значило не выполнить нашего, гуляйпольцев-революционеров, таганрогского постановления и впасть в общую болезнь — отделиться от всех и вся и в одиночку путаться из города в город, бесстыдно лицемеря перед незнающими тебя, будто ты разъезжаешь с каким-то поручением, будто ты чем-то занят и что-то делаешь в этом своем шатании. Этой болезни я не мог терпеть; всем своим существом я презирал ее. Поэтому ожидание, пока пройдут эти два дня, по истечении которых я должен буду получить паспорт, мучило меня, в особенности когда я встречал то тех, то других приезжих в Москву революционеров, которые чуть не все беззастенчиво лицемерили, что они озабочены судьбами революции на Украине, и жили, жили, ничего или почти ничего не делая; жили, как достойные бойцы после неравной, но успешной борьбы с врагами. В особенности так жили люди из правительственных партий большевиков и левых социалистов-революционеров. Противно было смотреть на все это лицемерие. Но выйти из его пошлого омута, чтобы не замечать его хотя бы среди своих близких, нельзя было. Кольцо его слишком крепко охватывало в это время жизнь Москвы, и из него можно было выбраться, только покинув Москву, эту бестолково шумную Москву, подлинно революционный дух которой в это время постепенно уже замирал во властническом политическом круговороте... можно сказать, растерянную Москву, к которой я питал особую злобу, как к содержанке тысяч путавшихся в ней бездельников, не перестававших не только льстить, но и орать во все горло о себе как о неустанных работниках движения.

Когда по деревням и другим городам в них нуждались; когда там они могли бы если не сделаться действительно неустанными работниками нашего движения, то по крайней мере стать полезными для него и для тех, силой которых наше движение ставит себе задачу осуществить исторические цели революции, многие и многие из нас, анархистов, в особенности чуть-чуть теоретически определившихся, попусту тратили время на ложные потуги отыскать в анархизме что-то сверхсовершенное, чему нет места в жизни настоящего. Место ему, дескать, только в будущем, и то неизвестно в каких формах. Эти бессодержательные для рабочего революционного анархизма потуги исказили самый смысл и содержание анархистского действия в революциях «настоящего». Благодаря им анархист должен теперь сознавать свое организационное ничтожество, несмотря на то что был одним из первых предвестников идеи социальной революции, и по долгу должен бы был не только морально, но и организационно оправдать ее зачатки, дать толчок к дальнейшему их развитию и углублению. Да неужели же это так будет и там, куда я лечу, чтобы страдать и радоваться в борьбе за освобождение угнетенных?

Нет! Нет! В украинской действительности повторный этап революции пойдет хотя и более резким, но зато и более верным путем, думал я в последние минуты перед выездом из Москвы. Здесь революция приняла окончательно бумажный характер: все ее дело проводится по декрету. Но украинские труженики, наученные горьким опытом, будут избегать этого, и революция будет подлинно трудовой революцией; социальные вехи ее неминуемо должны принять глубоко революционный характер; и это поможет труженикам деревни и города снести на своем пути весь партийный политический авантюризм. При этом передо мною беглой вереницей проходили все съезды, собрания, митинги — анархистов,

большевиков, левых эсеров... Я погружался целиком в самого себя. Многое мешало мне, однако, полностью останавливаться на всем, что приковывало мое внимание. Поэтому все мои воспоминания носили отрывочный характер. Так, например, я сосредоточился на съезде текстильщиков. Я вспомнил, как представители рабочих разрешали те или другие вопросы, хотя и от имени своего класса, но не его подлинной волей, а волей политических партий, из которых, как известно, каждая хотя и считала себя представительницей пролетарского класса, но по-своему и прежде всего в своих партийных интересах понимала и истолковывала его цели и обязанности в момент строительства социалистического государства (которое ему, пролетариату, нужно, как пятое колесо в телеге). А понимание и истолковывание это в умах и устах политических партий сводилось к тому, что пролетариат должен создать себе власть и надеяться и ожидать, что она, эта власть, создаст для него новые условия свободы и радости в жизни. А это, по-моему, во-первых, резко отмежевывало пролетариат и его цели в революции от трудового крестьянства, без взаимного сотрудничества с которым трудовая жизнь и классовая борьба за нее не могут достичь своих целей настолько, чтобы не дать места внутри себя политической и даже экономической реакции пролетариев города против пролетариев деревни. Во-вторых же, такое автоматическое подчинение пролетариев вообще как класса каким бы то ни было политическим партиям отдаёт его этим партиям на самое позорное издевательство как в духовном, так и в физическом отношениях. Это соответствует зарождению и развитию в огромной части городского пролетариата России и Украины мысли о необходимости «своей» государственной политической власти и ее диктатуры именно в духе толкований тех или других политических партий. Во имя этой власти часть пролетариата, которая сама коренным образом ничего изменить не может (это ей одной не под силу), разбивает единство всего трудового организма. Во имя неё же эта часть пролетариата создает новые, якобы «пролетарские» кадры, совершает поход против несогласившихся с нею, хотя и не вредящих ей, или борется зачастую за то, что в недалеком будущем во имя свободы, вольного труда и равенства сама же будет отбрасывать в сторону как хлам, искусственно вызванный к жизни в момент революции, которая сама же первыми своими практическими шагами показала, что она перешагнула через этот хлам и движется вперед. Благодаря всем этим явлениям, в тружеников деревни и города со временем закрадывается (и развивается) недоверие одних к другим. И благодаря ему же труженики всегда в результате всех своих исторических битв с властью капитала и его слуги — государства оставались в плену этой власти.

Идеологи политического авантюризма, по которому равняется почти все их принципиальное отношение к каждому освободительному движению тружеников, подхватывают это недоверие одних тружеников к другим, истолковывают причины, вызвавшие его в ложном виде, и на нем строят свои партийные программы, указывающие труженикам, что, только следуя их положениям, можно отыскать, правильно понять и устранить причины этого недоверия. Городской пролетариат, а также и трудовое крестьянство, потеряв свою целостность, то трудовое единство, из которого единственно можно было бы черпать силу для общей и великой борьбы за общее и полное свое освобождение, за своевременную взаимную поддержку и за знание, поддаются на эту удочку политического авантюризма и бросаются в объятия той или другой политической партии, воспоенной и воспитанной на этом авантюризме. Тем самым пролетариат и крестьянство дробят, распыляют свой трудовой фронт, обессиливают свою классовую мощь, за счет которой все, кому только не лень, и во

всех отношениях живут и наживаются во благо свое, своих близких, но только не на благо рабочих и крестьян. Правда, устои этой подлости революция пошатнула в корне. Но уничтожит ли она их совсем — это вопрос, на который я не могу ответить утвердительно теперь, когда я проехал десятки городов и побывал в самом сердце этих городов — их политическом руководителе — Москве, где вижу, как слабы, ничтожны, да к тому еще и неорганизованы те наши общие революционные силы, которые самой историей, казалось, были призваны в революцию, чтобы вывести ее из буржуазно-политического тупика на простор революционно-социального действия. Простором этого действия завладели политические партии. Они не задумываются серьезно ни над временем, ни над его подлинными требованиями. На их долю выпало стать во главе революции. Правда, революция эта чревата последствиями, но пока что они хозяева и властители дум широких трудовых масс. Они уродуют эти думы и направляют по своему партийному руслу, считая все это ввиду таких-то и таких-то причин (как они обыкновенно выражаются) неизбежным, даже необходимым.

То обстоятельство, что двум политическим партиям — большевиков и левых эсеров — посчастливилось стать во главе революции; что эти партии умело подошли к широким трудовым массам в деревне и городе и организованно овладели ими, — это обстоятельство в значительной степени помогло им лишиться профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты и производственные кооперативы трудящихся возможности развиваться в духе подлинной революционной хозяйственности, возможности создать из этих организаций исходный пункт и операционную базу, чтобы двигаться вперед в борьбе с контрреволюцией, определенно осознавая свои цели, предостерегая себя от недочетов и ошибок. Весь политический путь революции делал профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты и производственные кооперативы трудящихся, а также и самих трудящихся не только бессильными, но и неспособными без опеки политических партий и их государственной власти самостоятельно отвоевывать себе право на социальную независимость, самостоятельно отвергать одни принципы во имя других, наиболее отвечающих характеру революции.

Политические партии, даже самые левые из них над этим серьёзно никогда не задумывались. Не задумываются они и над последствиями своих действий в русской революции. Увлекаясь сами своими «успехами», они увлекают за собой и слепо им доверившиеся трудовые массы, увлекают часто в такой омут сумятицы и неопределенностей, которого и сами не в состоянии ни понять, ни расхлебать... Такое положение я сейчас лично наблюдаю и думаю, что его многие чувствуют в эти июньские дни восемнадцатого года в России не только в рядах широкой трудовой массы, но и внутри самого большевистско-левоэсеровского блока, когда, с одной стороны, Вильгельм Второй через своего посланника Мирбаха и через самих большевиков ставит препятствия развитию русской революции, а с другой стороны, пролетариат и крестьянство на всех своих съездах требуют для революции широкого простора. Хотя благодаря этому большевистско-левоэсеровский блок и дал окончательную трещину и можно ожидать боя, но это обстоятельство не может стереть того преступления, какое этот блок уже совершил по отношению к широким трудовым массам, которыми и во имя которых революция совершалась.

Так думалось мне. И еще задумывался я над тем, что будет, когда широкие трудовые массы, которые так искренне и глубоко верили в чистоту принципов Октябрьской революции, узнают, как эти принципы попираются в Москве, к которой как к духовному центру они все-таки прислушивались. Ведь им легко будет убедиться в том, в чем теперь убедился я, что, совершая революцию, борясь и умирая за нее, они прежде всего приносят пользу политическим партиям, которые управляются особой интеллигентской кастой; а последняя, по самому существу своих специфических кастовых интересов, чужда тех идеалов широких трудовых масс, во имя которых последние совершают революцию. Утешал я себя тем аргументом, что таков исторический ход всякой революции, кроме подлинно социальной. Только последняя в своем стихийном беге сметает всякий политический авантюризм, прежде чем переходит на свой организационный созидательный путь. Это, быть может, и спасает ее положительные результаты...

В период развития социальной революции, думал я далее, политические авантюристы со своей демагогией болтаются больше всего в ее хвосте. А те из них, которые идут вместе с массами, но и со своими лукавыми намерениями, при всей их хитрости зачастую погибают на этом пути... И лишь те революционеры, кто вступает в ряды борющихся трудовых масс не с лукавыми намерениями своих партий или групп и не как повелители, а как бойцы и советчики, зачастую выигрывают вместе с массой или если погибают, то оставляют глубокие, даже неизгладимые следы для будущих битв.

Были ли такими образцами в стихийном беге русской революции из большевиков — Ленин, Троцкий, Свердлов, Каменев, Коллонтай, из эсеров — Спиридонова, Камков; из анархистов — А. Боровой, Рощин, Атабекян, Бармаш, с которыми я встретился в Москве и которых слышал на митингах, я не знал. Но после всего передуманного во мне еще более укрепилась мысль о необходимости стараться, чтобы трудовое крестьянство и пролетарии города заботились о себе сами, непосредственно у себя на местах. Теперь уже во мне бурлила кровь — желание во что бы то ни стало быть на Украине. И все взоры мои были направлены туда, чтобы совместно с народом учесть все недочеты, все ошибки недавнего прошлого и броситься в жестокую борьбу против немецко-австро-венгерских и гетманских сатрапов и их вооруженных контрреволюционных банд; в борьбу, чтобы или умереть, или освободить Украину от них.

В душе поднялось властное желание путем воли и усилия самого трудового народа создать на Украине новый строй жизни,

Где не было бы ни рабства,

Ни лжи, ни позора!

Ни презренных божеств, ни цепей,

Где не купишь за злато любви и простора,

Где лишь правда, и правда людей...

Такой строй в настоящее время я мыслил вполне возможным в форме вольного советского строя, при котором вся Украина и Россия, все другие страны мира должны покрыться местными, совершенно самостоятельными хозяйственными и общественными самоуправлениями, или советами тружеников, что одно и то же.

Через свои районные, областные и общенациональные съезды эти местные, хозяйственные и общественные органы самоуправления устанавливают общую схему порядка и трудовой взаимности между собою. Создают учетно-статистическое, распределительное и посредническое федеративное бюро, вокруг которого тесно объединяются и при помощи которого в интересах всей страны, всего ее свободного трудового народа согласовывают на поприще всестороннего социально-общественного строительства свою работу.

Над практическим осуществлением вольного советского строя я часто задумывался. Часто болел из-за того, что видел, как все в то время шло по ложному пути и этим говорило мне, что, чтобы разрушить этот ложный путь, нужны великие усилия и жертвы трудящихся, которые одни только и могут это сделать. Но они к этому не подготовлены. Более того, они от этого своего прямого дела уже отведены политиками-государственниками в сторону и прикованы к делу этих политиканов. Вместо воли начала коваться неволя самими трудящимися и для самих себя. Политиканы-социалисты и коммунисты-государственники, стоявшие во главе на этом ложном пути революции и приведшие трудящихся к партийному повиновению, довольны своими успехами. Широкие же трудовые массы, которыми и во имя которых совершалась революция, этого чисто политического довольства политиканов не могут заметить и еще решительнее отдают свои права на свободу и независимость в жизни и борьбе за новые общественные идеалы, самих себя, свою жизнь под опеку этим поистине зарвавшимся вершителям судеб трудящегося люда.

И опять размышляя об этом, я находил некоторое успокоение в своей глубокой вере в то, что на Украине, при новом оживлении революции, труженики будут осмотрительнее и не отдадут себя и свое прямое дело под опеку политиканов. Волнуемый этой верой и вытекавшими из нее надеждами, что я сам буду работать в этом направлении, будут работать все мои друзья и идейные товарищи, я решил ни одного лишнего дня не оставаться в Москве. Решил зайти к тов. Затонскому, спросить его, приготовил ли он обещанные мне украинские документы, и получить их, если они приготовлены; если же нет, в тот же день уехать в направлении Курска.

Затонский принял меня на сей раз совсем по-товарищески. Сообщил, что документы сделаны, и тут же вручил их мне.

Затем мы долго говорили об Украине, о ее революционных районах и т. п. Он еще раз предложил мне остановиться в Харькове, где я могу, по его заверениям, встретить многих анархистов и хороших работников-большевиков и откуда действительно может начаться серьезная революционная работа против немецко-гетманской реакции.

Я и на этот раз заявил Затонскому, что я обусловлен большой ответственностью быть в первых числах июля в Запорожье, в селах, и спешу только туда. Всякая моя задержка может дурно отразиться на работе, начатой нами, анархо-коммунистами.

Затонский засмеялся и сказал:

- Разве анархисты способны организовать что-нибудь серьезно и в большом масштабе? Анархисты способны только разрушать...
- По вашей демагогии, — ответил я ему и тут же добавил: — Когда-либо увидите, что мы способны и создавать.

Он пожелал мне хорошего успеха, и я вышел от него. Лишь идя по дороге от Затонского, я искренне сам себе признался, что я переборщил, сказав, что мы способны создавать. Как организация мы, анархисты, ни на что серьезное и в широком масштабе в это время способны не были. Это убедительно говорил мне каждый шаг моих дерзких попыток увидеть, что наша анархическая организация сделала по городам за этот период революции. Я ничего не заметил, потому что ничего не было. Все разрозненные попытки многих анархических групп заложить прочный фундамент нового свободного строя на совершенно новых началах, без государства и его инициативы, потерпели полное поражение только потому, что они были единичными и неповсеместными попытками. Порожнь они легко и с надеждой, что не повторятся, властью разрушались. Противостоять этому гнусному делу революционной власти они не могли своими разрозненными силами. А единой и мощной организации, которая знала бы, чего она хочет и как действовать среди тех безыменных крестьян и рабочих-революционеров, которыми выносятся вся тяжесть событий, мы, анархисты, не имели и пока что не имеем. Впрочем, человеку-политикану я сказал, что мы способны создавать, думал я дальше: было бы лучше и правильнее, если бы я сказал ему, что его власть мешает нам создать что-либо большое и серьезное. И это соображение меня успокаивало.

*** Глава XX

**** В ДОРОГЕ НА УКРАИНУ

Итак, распрощавшись с товарищами-москвичами, я в сопровождении Аршинова отправился 29 июня 1918 года на Курский вокзал в Москве. Здесь, в ожидании поезда на Курск, Аршинов еще раз напомнил мне, чтобы я, если благополучно доберусь до места, не забывал страждущей материально анархической Москвы. Конечно, он имел в виду в данном случае анархическую Москву в лице Союза идейной пропаганды анархизма, и только это меня удерживало, чтобы не разразиться по адресу анархической наезжей Москвы руганью за ее бессодержательное, пустое болтание вдали от живой, плодотворной работы среди крестьян. Я сдержанно и с чувством сознания анархической обязанности помогать всем, чем могу, движению ответил ему, что помогать буду, если буду жив...

А когда поезд подошел, Аршинов помог мне влезть в вагон и мы, распрощавшись, расстались, мне казалось, навсегда; ибо я и по своему темпераменту, и по своему сознанию считал долгом быть в этот грозный для революции момент среди масс, в самой их гуще. Я сознавал ответственность за возможное поражение революции хоть и в разной степени, но за всеми революционерами, и мне казался противным слет анархистов в Москву и бессодержательное пустое шатанье по ней. Передо мной во всей своей ясности стояли простые и хотя злобные, но правдивые слова П. Бурцева о том, что большинство, если не все

приезжие наши товарищи в Москву, путаются в ней почти без дела или если и берутся за какое-либо дело, то только от стыда перед своим противником и часто для того лишь, чтобы не пухнуть с голода.

Я краснел перед самим собою за подобного рода явление в наших рядах. И если что-либо меня утешало, так это полнота веры в то, что, если мне удастся пробраться на Украину в Гуляйпольский район и если удастся также и остальным моим товарищам пробраться к Гуляйполю и устроить хорошее общение с крестьянами и рабочими Гуляйполя и района, наша организационная и боевая работа будет освобождена от случайных элементов и примет совершенно новый вид как по форме, так и по практическому содержанию: вид борьбы против контрреволюции, за идеал свободы, равенства и вольного труда.

Утешаясь этим, я чувствовал себя, несмотря на тесноту, духоту и вонь в вагоне, лучше, чем в Москве, этой соблазнительной издали и как будто способной чему-то научить Москве, из которой я теперь бежал на простор живого действия украинской революционной деревни. На этом просторе, в гуще тех, кто способен его создать и на его основании закладывать фундамент новой жизни, я найду духовное удовлетворение, говорил я себе, и уносился мыслью к нему, к этому простору...

Так, с полным чувством увлечения и неопишуемой радости, я доехал до Орла. Здесь поезд задержался. Я не утерпел и вышел из вагона, а потом уже за давкой не мог попасть в него и остался на целые сутки в Орле.

Побродил по этому городу. Он многое напоминал мне собою. Ведь это город, в котором при самодержавии глупого Николая II Романова существовала каторга. На этой каторге в особенности не было предела разнузданности по отношению политкаторжан. Дух антисемитизма здесь гулял в той мере, в какой только смогли проявлять его управители каторги, начиная от начальника и кончая темным невежественным надзирателем — ключевым или постовым — у дверей камер при выходе на прогулки, на самой прогулке. Это в Орловской каторге чуть не каждого прибывающего в нее политкаторжанина под воротами спрашивали: «Жид?» И если отвечал: «Нет», заставляли показать крест. А когда не оказывалось последнего, били, приговаривая: «Скрывает, мерзавец, свое жидовство». Били до тех пор, пока не срывали с него арестантского костюма и не убеждались на половом члене. Но и в этом случае били, только теперь уже за то, что не носит креста...

Одно воспоминание об Орловском центре, о котором мне мои друзья так много рассказывали, сдавливало мне горло и леденило мозг.

Хотелось мне разыскать анархическое бюро, повидаться с анархистами, узнать, уничтожены ли надзиратели и начальство этой каторги. Чувствовалось, что было бы легче на душе, если бы знал, что революция этим палачам не простила за их подлые злодейства. Однако анархистов я в Орле не нашел: революционная власть большевиков-левоэсеровского блока дико плясала на мертвом теле революции, как везде.

На другой день, ночью, я был уже в Курске. Здесь я встретил много анархистов и большевиков. Все они готовились к отъезду на Украину. Они были несколько смелее меня

насчет отъезда. Они имели связи и проводников. Не были они стеснены и материально.

В Курске я пробыл недолго. Я побывал там, где должен был встретиться с Веретельником и другими товарищами, и как только выяснил, что их никого еще не было, я сейчас же направился к границе по направлению Белгорода. Высадился я на станции Беленкино и по дороге от нее к границе встретился в тысячной толпе мешочников и людей других профессий со многими гуляйпольцами. Один из них — сын одной хорошо знакомой мне еврейской семьи, некий Шапиро — бросился мне на шею. Он многое сообщил мне о положении крестьян в Гуляйполе, ни словом, конечно, не заикнувшись о гнусной провокаторской роли еврейской роты вольного Гуляйпольского батальона, благодаря первым инициативным действиям которой под руководством агентов Украинской Центральной рады и немцев гуляйпольские крестьяне попали в это тяжелое положение.

От этого Шапиро и ряда других еврейских парней я узнал, что дом моей матери сожжен немецкой и украинской властями. Старший мой брат Емельян, который, как инвалид войны, не принимал никакого участия в политической организации, расстрелян. Другой старший брат, Савва, который участвовал в революционном движении с 1907 года, как только возвратился после нашей таганрогской конференции, тотчас же был схвачен и посажен в Александровскую тюрьму. За мое отсутствие из Гуляйполя немцами совершено много расстрелов, главным образом крестьян-анархистов. А мать моя скитается по чужим квартирам...

Эта коротенькая весть о жизни в Гуляйполе так повлияла на меня, что я душевно заболел. Я способен был на то, чтобы возвратиться в Москву, в ту самую Москву, которую я возненавидел за мое пребывание в ней. Это смятенное состояние еще более усиливало боль моей души. Я остановился на дороге. Толпы народа шли непрерывно из Украины в Россию с радостными улыбающимися лицами, видимо потому, что благополучно пронесли что-то с собой через границу.

Долго я раздумывал. Гуляйпольцы, с которыми я встретился на этом месте, уходя от меня, не советовали мне пробираться на Украину. Но разум диктовал мне совершенно противоположное. Он напоминал мне ответственность мою перед тем, что я наметил, будучи еще в Гуляйполе, что формулировал особо выразительно на таганрогской конференции гуляйпольцев и что целиком было конференцией принято. Ведь во имя этого решения я еду на Украину. Я переборол свое чувство боли, подбодрил себя мыслью, что кому-либо нужно было умирать из моего рода за освободительные идеи народа, но что смерть их рано или поздно вызовет за собою взаимные смерти, я в этом клянусь перед своей совестью. И я, упоенный этой мыслью, тронулся дальше в путь.

Теперь я больше ни о чем другом не думал, как о том, чтобы благополучно пройти мимо немецких пограничных пикетов. Я нанял по примеру других подводу, положил свой чемодан, сам уселся в нее и спокойно, по праву гражданина гетмано-немецкой Украины, проехал пикеты Красной Армии и немецкие пикеты.

Дорога была удачная. Никто никого не трогал. Я освободил своего подводчика, поставил чемодан и сел на него, чтобы отдохнуть, только потому, что так делали все переезжавшие.

Освободившись быстро от мысли, что за мной могут следить, я подошел к одному, к другому из граждан, чтобы узнать, какая и где же находится станция. Все указывали назад, на станцию Беленикино, находящуюся в зоне красных. Этой же станции, где мы сидели, никто не знает. Перестал и я заботиться о том, чтобы узнать ее название. Тем более что я уже узнал, что поезд из Белгорода подойдет к этому месту, где сидят пассажиры, и мы здесь будем садиться в него.

В скором времени поезда один за другим начали подходить, забирать пассажиров и отправляться обратно в Белгород и далее, до Харькова.

Пассажиров было очень много. Поезда наполнялись в мгновение ока через двери и через окна вагонов. На крышах вагонов было также полно. Я поджидал случая, что мне удастся попасть в вагон через дверь, и остался на месте посадки до самой ночи. Правда, были вагоны железнодорожных служащих, в которых место было, но немецкие власти запрещали им брать к себе пассажиров. Кроме того, железнодорожные служащие гетманского царства поделались такими «украинцами», что на вопросы, обращенные к ним на русском языке, совсем не отвечали.

Я, например, хотел от них узнать, идет ли этот эшелон и далее, из Белгорода. Мне пришлось подходить к целому ряду вагонов, но ни один из железнодорожников на мой вопрос ни слова не ответил. И только позже, когда я, истомленный, проходил обратно рядом с этими вагонами, один из них подозвал меня и предупредил, чтобы я ни к кому не обращался со словами «товарищ», а говорил бы «шановний добродію», в противном случае я ни от кого и ничего не добьюсь.

Я поразился этому требованию, но делать было нечего. И я, не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так в своих обращениях к окружающим меня, что становилось стыдно...

Над этим явлением я несколько задумался; и, скажу правду, оно вызвало во мне какую-то болезненную злость, и вот почему.

Я поставил себе вопрос: от имени кого требуется от меня такая ломота языка, когда я его не знаю? Я понимал, что это требование исходит не от украинского трудового народа. Оно — требование тех фиктивных «украинцев», которые народились из-под грубого сапога немецко-австро-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон. Я был убежден, что для таких украинцев нужен был только украинский язык, а не полнота свободы Украины, и населяющего ее трудового народа. Несмотря на то что они внешне становились в позу друзей независимости Украины, внутренне они цепко хватались, вместе со своим гетманом Скоропадским, за Вильгельма немецкого и Карла австро-венгерского, за их политику против революции. Эти «украинцы» не понимали одной простой истины: что свобода и независимость Украины совместимы только со свободой и независимостью населяющего ее трудового народа, без которого Украина ничто...

Ночью с немалым трудом на свой риск и страх я взобрался с рядом, видимо, подобных мне стрелцов на крышу одного вагона и таким образом приехал в Белгород, где переоделся в

офицерский костюм, к которому имел соответствующий документ. Это помогло мне беспрепятственно доехать до Харькова.

Тут я в ожидании поезда на Ростов задержался на несколько часов и потом переехал в Синельниково (в 60 -70 верстах от Гуляйполя). Радости моей не было границ. И вероятно, из-за нее я попал бы в руки немецким и гетманским агентам, если бы не считался с тем, что того Синельникова, которое я знал раньше, уже не было, как не было уже вообще всего того, что было 2 1/2 месяца тому назад. Теперь ничего ни украинского, ни русского нигде по станциям, в дороге и в самом Синельникове, я не видел. Всюду: у дверей станции, на досточках, висевших на паровозах, красовались надписи:

«Deutsch Vaterland» (немецкое отечество), а по перронам шатались или сидели группами солдаты контрреволюционных армий, вышедших из этого «Deutsch Vaterland».

Это сдерживало порыв моей радости. Я беспрерывно думал: где же я? Неужели же я попал не туда, куда так рвался из Москвы? И зло, о как зло смеялся я над всеми этими надписями!..

Но этот мой смех быстро сменился ужасом, когда один из гуляйпольских евреев подошел ко мне и, протягивая мне руку, назвал меня по фамилии. Я ужаснулся, хотя знал, что он был честный человек и на то, чтобы предать меня властям, не пойдет. Я просил его быть осторожным с моей фамилией и в ту же минуту убежал от него, переоделся в Штатское платье и с первым попавшимся поездом выехал по направлению Гуляйполя.

Теперь положение мое несколько изменилось. Если от Белгорода до Синельникова — около 400 верст — мне везло в пути (помогали: военная форма, погоны прапорщика, фальшивое расшаркивание и такие же поклоны), то от Синельникова до Мечетной, каких-либо 30 -40 верст, путь мой сделался чрезвычайно тяжелым. Каждую минуту ожидала смерть. Мое старание выглядеть «щирым гетманцем» кой-как сходило с рук по глупости гетманской государственной стражи. Но рассчитывать на этот прием оказалось возможным только до станции Мечетное. Начиная же от этой станции, мое имя начало все чаще упоминаться в вагоне. И на одном из разъездов мне гуляйпольский гражданин Коган и другие сообщили, что немецкие жандармы ищут меня в других вагонах.

Я быстро передал Когану свой чемодан с вещами; сказал, кому сдать его в Гуляйполе, а сам, накинув на себя плащ, вышел из вагона в поле и скрылся в его зарослях. Когда же поезд отправился дальше, я поднялся и ушел.

25 верст я прошел пешком и попал в нужное мне село Рождественка, с левой стороны которого всего в 20 верстах находилось мое родное Гуляйполе, которое я даже видел, подходя к Рождественке. На сердце чувствовалась нежная любовь к одному имени: Гуляйполе... Однако в Рождественке крестьянин З. Клешня и все близкие сообщали мне нерадостные вести о Гуляйполе, о жизни в нем трудового населения, о расстрелах лучших сынов его и т. д.

Однако, как ни трудно было мне снестись с гуляйпольскими крестьянами и рабочими-анархистами (теми, которые не были известны как анархисты шовинистической украинской

и буржуазной еврейской сволочи, выдававшей всех революционеров немецким палачам на казни, и только поэтому оставались в живых), я все-таки письменно снесся с ними, дав им знать, что не сегодня завтра буду среди них, чтобы вместе с ними обсудить ряд важнейших вопросов революционно-боевого характера. И несмотря на то что от них я получил ответ — воздержаться от переезда в Гуляйполе, пока они не пришлют за мною своего человека, а это делало меня пленником, я чувствовал, что я на Украине, и верил, что отсюда я раскачаю начатое еще весной Дело организаций восстания.

Да, именно этот район оказался центральным пунктом организации революционного крестьянского восстания под моим личным и всей нашей группы идейным и организационным руководством.

Гуляйполе со своим трудовым и революционным населением и его стремлением возродить казенную революцию стало основным руководящим ядром этого восстания. В нем, Гуляйполе, я с рядом преданнейших делу социальной революции анархистов-крестьян создал операционную базу, на основе которой гуляйпольское трудовое население первое восстало против палачей революции — немецко-австро-венгерского юнкерства и гетманщины. Своими усилиями, своей отвагой и революционным мужеством на этом пути оно сделало все, чтобы увлечь за собою другие села и районы трудового населения.

Все это, конечно, не сделалось в мгновение ока, по мановению «волшебных палочек», как это многие паяцы из политиканов-социалистов, большевики и многие анархисты, не понимая широкой массы и чаще всего стоя в стороне от нее, позволяют себе не только думать в своей среде, но и писать с пафосом для других, пафосом, обыкновенно заменяющим знание предмета.

Все это требовало от нас величайших усилий и упорства стоять на одном, бить в одном направлении, чтобы убедить широкую трудовую массу в нашей преданности ей не только на словах, но и на деле в ее практической жизни, в ее борьбе за ограждение своего революционного пути от мусора со стороны главным образом замаскированных врагов революции, которые чаще всего появляются в ее рядах под знаменем социализма.

Этого предмета я уже касался во вступительной книге к моим запискам («Русская революция на Украине»).

Исчерпывающим изложением всей этой столь важной темы я займусь в последующих моих книгах: в третьей и в четвертой, т. е. там, где будет речь о практической и организационной стороне руководимого мною крестьянского революционного восстания на Украине, представлявшего собою украинскую революцию.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 марта 2025 01:42:39

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 марта 2025 01:43:26